

борис евсеев

лавка  
НИЩИХ

русские каришчи

Борис Евсеев —  
финалист премии  
«Русский Букер» (2005)



# Борис Тимофеевич Евсеев

## Лавка нищих.

### Русские каприччио

*Текст предоставлен издательством*

*[http://www.litres.ru/pages/biblio\\_book/?art=171110](http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=171110)*

*Лавка нищих. Русские каприччио: Время; Москва; 2009*

*ISBN 978-5-9691-0923-0*

#### **Аннотация**

Рассказы Бориса Евсеева – неповторимое явление в нынешней русской прозе. В них есть все, что делает литературу по-настоящему художественной и интересной: гибкий и словно бы «овеществленный» язык, динамичный сюжет, прочная документальная основа, глубинное проникновение в суть характеров. Великолепие и нищета современной России, философы из народа и трепетные бандиты, владельцы магазинов «блаженных нищих» и чудаковатые подмосковные жители – вот герои, создающие новую повествовательную среду в «русских каприччио» Евсеева. В книге 20 новых рассказов, ядро сборника было опубликовано в журнале «Октябрь».

# Содержание

I		4
	ЕХАЛ НА ПТИЧКУ ИВАН РАСКОРЯК...	4
	ОСТРОВOK РЕЙЛЯ	34
	Конец ознакомительного фрагмента.	41

# **Борис Евсеев**

## **Лавка нищих**

### **Русские каприччо**

#### **I**

## **ЕХАЛ НА ПТИЧКУ**

### **ИВАН РАСКОРЯК...**

#### **1**

На горбу мешок с кормом. В руках птичьа порожняя клетка. С головы съезжает «пыжик» с надорванным ухом.

Ваня встал со звездой, вышел затемно, к первому автобусу. И то: добираться ему на Новую Птичку – на Новый Птичий рынок – чуть не три часа. Снегу почти нет, скоро весна, но по утрам холодно, и одет Ваня во все теплое: длинная куртка с подстежкой, ватные штаны, сапоги армейские.

Идти к автобусу далеко, неудобно. Раньше б оно – все ноги переломал, а теперь легче: здоровенная круглоколесая ре-

клама днем и ночью сыплет искрами, булькает красно-синим газком, круглое автомобильное колесо без конца вертит.

Клетку волоочь на Птичий неудобно, а ничего не подделаешь. Здесь в Перловке за нее гроша ломаного не дадут, а там, глядишь – полторы сотни отвалят.

Денег у Вани нет совсем. Дома пять сотенных бумажек, на черный день. В кармане – десятка с мелочью: на обратный путь. Туда-то на Птичку, «за так» ехать придется.

Но только отъехали – контролеры, мать их. «Гражданин, ваш билет... Как не стыдно государство оманывать. Еще выражается...»

Тут еще и водитель добавил: «Он не брал, не брал, так прошмыгнул!»

Ссадили. Ваня потоптался на месте: клетка на дороге, мешок в руке. Автобус – пригородная трехсотка – не спеша укадил. Женщина-контролер, румяная до красноты, сквозь заднее стекло все глядела на Ваню. Улыбалась чему-то.

Невдалеке за навороченной эстакадой – Москва. Вроде рядом, а пешадралом – полчаса.

Ваня закинул мешок за спину, подхватил клетку, выбрался на Окружную, стал голосовать.

## 2

На Птичке, по четвергам, не так чтобы и людно. Основной народ к выходным подвалит. На самую Птичку Иван не пошел.

Встал метрах в тридцати от входа. Корм для рыбок продавал долго, почти до обеда. А клетка непроданной оставалась. Да и кроме клетки было еще кое-что: то, за чем ехал.

Ехал же Ваня на Птичку для смутного дела. Грызло оно его и терзало: хоть таблетки пей! Но таблетки Ваня пить не стал. Сюда, на Птичку выбрался. Он и раньше кое-что продавал близ Птички. Но не часто. Дух на Новой Птичке – не тот. Не запах, не воздух – именно дух! Старую Птичку Иван любил. А вот к Новой никак приспособить себя не мог...

Клетку никто не брал – старая, грязноватая, хоть и мыл, и чистил.

«Так и вечер скоро...»

Ваня в сердцах несколько раз раскрыл и закрыл дверцу, клетка звякнула, маленькая щеколда на дверце обломилась, он кое-как щеколду прикрутил, смачно плюнул, двинул на саму Птичку, на рынок.

### 3

Ох и бедлам на Новой Птичке! Люди-звери и звери-ангелы. Простаки, мудрецы, хитрованы. И, главное, чуть не намертво приросли все друг к другу!

Но... Разные звери – разные люди! И характер у человека – как у его зверя. А иногда – звери и птицы на людей, как две капли воды, походить начинают.

Грызунов продают – жадные, запасливые.

Птиц – растеряшки мечтательные.

Гадов и крокодилов – люди древние, люди далеко и крупно видящие.

Домашней птицей – жестокие торгуют. Животных – это Ваня знает точно – убивать на рынке запрещено. А эти, для клиентов – нате вам, пожалуйста – курам головы наотмашь рубят!

Еще – голубятники. Те все почти урки. Голубей тихо и гадко придавливают, чтоб, значит, в неволе яиц не клали.

Но сцепляет всех тех человек, отбирает по норову и по людской масти – расположение рыночных рядов.

Самый ближний к Ване ряд – кошачий.

Глаза у кошечек веселые, добрые. Мордочки счастливые. Только с чего бы это? Ваня знает с чего. Поэтому – скоренько дальше.

Дальше – гады. Их, правда, и называть так не хочется. А как? Ваня роется в памяти. Точно, рептилии! Черепахи с гнилыми легкими, ужи-змеи – клубками, игуаны крокодилистые, все иное прочее: серое, мерцающее, болезненное, здоровое – перемешано, перевито...

За черепашиным рядом – собаки. Тут наметанному глазу все становится ясно окончательно. Есть, конечно, меж собак и здоровые, есть и бодрые. Но... переросточки они все! Месяца им по три, по четыре. А для продажи надо куда как меньше: полтора, от силы два месяца. Некоторые щенки – для веселости и форсу – наркотой напичканы. Это Ваня по

блеску глаз сразу определяет. У него ведь только по недоразумению – диплом техника. Надо было в зоотехники, в заводчики идти! А так – ни техник, ни зоотехник, вообще никто.

Ваня обмахивает с лица грустняк, медленно движется по направлению к любимому ряду, к птицам.

Тут как на зло – ушлаган знакомый. Торк Ваню в бок:

– Про должок, Ванятка, забыл?

Долг не ахти какой, 120 рублей. Но ушлагану не долг важен – Ваню поприжать требуется. Поэтому без слов половиною приторгованного ушлагану в карман: отстань, на фиг!

Вдали Елима Петрович показался. С Ваней у него давние счеты. Не пускал Елима его еще на Старую Птичку, гнал отсюда и страшил, пригородной шелупонью обзывал. А за что – так до сих пор Ваня и не понял.

Завидев Елиму Петровича, Ваня присел на корточки и ну первую попавшуюся собаку по уху щелкать!

Елима Петрович – розово-лысый,вширь раздавшийся – хоть и хозяин почти половине рынка, а каждую мелочь до крохи помнит. Ходит, смотрит, закорючки в блокноте рисует.

Долго в собачьем ряду Ваня выдержать не мог. Приподнялся, увидел: Елима Петрович все вокруг осмотрел, назад возвращается. Тут Ваня в ряд птиц и вступил.

И сразу еще одна напасть: «сестра-хозяйка», Пашка.

Познакомились чудно. Курили как-то близ рынка. Ва-

ня матом выражался, Пашку за газировкой гонял. А потом Пашка-пацан шапочку лыжную скинул – оказалась девка. Лет двадцать, не больше. Младше Вани лет на восемь.

Душевно они тогда покалякали, а потом Пашка волосы опять прибрала: не хочет девкой быть на рынке, боится. А с Ваней обещала встретиться когда угодно и где угодно.

Только давно это было. Ваня тогда смерть жены переживал, настоящего внимания на Пашку не обратил. Зато сейчас она в него, как рак клешней, вцепилась.

– Все, все, отстань! Потом подходи, после!

Никак не займется Ваня птицами. А надо. Душа горит!

Давно он задумал одну штуку отчебучить: повыпускать всех рыночных птиц к ядрене фене! Да не так выпустить, как продавцы предлагают: «Загадай желание, давай полтинник, отпуская голубя». А тот голубь два-три круга над рядами сделает и к хозяину вернется. Не так. Пусть все летят! Зима кончается, авось не померзнут. Все лучше чем в клетках себе шеи сворачивать!

Только как же им из рыночного ангара вылететь?

Но и это обдумал Ваня. В крыше широкое отверстие есть! Да и двери, если их все отворить, птицы найти смогут.

Летела гагара

По краю ангара...

Раньше Ваня «не доезжал»: куда это непроданные птицы

с рынка деваются? Потом понял – куда. Потому-то и хочется Ване всех – на волю! Пусть летают. Смерти случайной не боятся, жизни постылой не стыдятся...

– Мэтинг, мэтинг, – шепчет кто-то Ване в самое ухо.

– Чего?

– Эх ты, дярвеня! Мэтинг – это совокупление животных. Покруче нашего они совокупаются. Ну, берешь? Давай, чудрила, пару дисков даром отдам!

Но тут рассмотрелся продавец, прикинул собеседника на вес и на деньги, видит – пустой Ваня, и сразу его как ветром сдуло.

За «дярвеню» Ване обидно. Как никак – под Москвой живет. Но и чувствует: правда! Хуже деревни – пригород. И он, Иван, самый что ни на есть негодящий: пригородный. Москвой придавленный, грязью заляпанный, магазинами обделенный, товаром обнесенный. Словом, ни богу свечка ни черту кочерга. И все пригородные такие же. Вся жизнь – на ногах, в дороге. Одну дорогу и видят, а жизни настоящей – так той даже не нюхали.

Тут, вместе с обидой на пригород, Ваня вспомнил отца. Заругался на него мысленно. «Зачем в Перловке осел? Зачем до Москвы не дотянул?»

Но отца-батяню Ваня любил. Долго на него сердиться не мог. Отец у Вани был подполковник, танкист. Прожил 76 годков. Умер – счастливый. А жил тяжело. До пенсии – так и вообще гадко. И все из-за собственного имени. Звали отца –

Лазарь. Лазарь Калинович. Те, кто зла отцу не желал – звали Калина-малина. Ну а за Лазаря досталось ему крепко. И в армии, и на гражданке.

– Что за имя такое для русского человека? Спрашивали и били. Жалели, поили водкой и били опять.

Потом снова спрашивали с пристрастием.

Однако умер отец – небитым, умер довольным. Как с Северов в Перловку переехали, стал Лазарь Калинович выдавать себя за еврея, влезал в мелкие торговые дела, научился картавить и деньги были. Но Ване отец ничего не оставил: все в последний год жизни спустил на крашеную челночницу.

С отца Ваня перескочил на покойницу-жену, которая померла ни с того, ни с сего, а потом на мать, которую почти не помнил.

Срочную Ваня служил на Балтике, в Калининграде. Вспомнил и про флот. И только тут заметил: держит он в руках чью-то чужую клетку, а свою на землю поставил.

– я ж говорю – свеженькая пташка, только вчера привезли. Бери!

Ваня вздохнул, чужую клетку к туловищу прижал, полез рукой внутрь, ощупал черного нахохлившегося дрозда, огляделся.

Прошел мимо ветеринар в куцем белом халатике. Где-то вдали мерцнул глазками розовый, ветчиннорылый и ветчиннорубленный Елима Петрович. К уху Елимы прилип казен-

ный человек с коричневыми щеками, в синей прокурорской форме. Пряталась за широкие спины, боясь подойти ближе, белобрысая – сегодня без всякой лыжной шапочки – Пашка.

Ваня разжал ладонь, чуть подкинул и выпустил дрозда.

## 4

Одно время Пашка даже хотела поселиться и жить близ Новой Птички. Но это только сперва. Быстро перехотела. Тогда она через день – кроме понедельника – стала сюда ездить.

Пашка жила в Москве, в Отрадном, но работала в области. Медсестрой, и тоже через день. В Москве работы для нее не находилось. В области платили мало, зато и отстежек не требовали. А на Новую Птичку Пашка ездила, думая сперва приработать на котятках. Потом – из жалости. Потом – по привычке. А уж после – чтобы встретить Ивана. Она бы прямо тут стеречь Ваню осталась. Нормальный мужик того стоит. Да страшно. Не за себя, а вообще.

Ну а страшно потому, что попала Пашка однажды в близлежащий лесок. Теперь мимо этого леска проходила она, втянув голову в плечи и закрыв глаза. Но и с закрытыми глазами видела то же, что и в первый раз: трупки птиц, лапы, мордочки и хвосты мертвых зверьков. Слышала писк живых еще...

После этого Пашка стала звать Новый Птичий – Невольничьим рынком.

## 5

Елима Петрович вышел из подсобки и обтер руки о кожаный новенький фартук. Он любил сделать что-нибудь собственными руками. Хоть нужды давно и не было: был наверху, наличку считал стопками, мог бы и отдохнуть. Но Елима был мудрец, знал: одна только работа делает свободным. И вообще: труд сделал из обезьян человек. А на Птичке, случалось, он сам из этих человек обезьян делал. Словом, Елима пыхтел, сопел, рук ни на миг не покладал.

После обеда народу стало больше. Цепко оглянув ряды, Елима Петрович сразу заметил непорядок. Верней, непорядок этот еще только готовился, но он даже и подготовку заметил: обернулся, махнул кому-то рукой.

## 6

Казенный человек с бурым, морщенным, как сухая фрукта, лицом – еще недавно был пристав. Теперь – бывший пристав. Этого слова «бывший» – он не выносил. Правда и поперли его из приставов совсем недавно, так что вполне мог сойти за пристава настоящего.

Бывший пристав Трофимьев вмиг оказался близ Елимы Петровича.

– Ты зачем в форму вырядился? – зашипел на пристава розовый Елима. – Хочешь, чтобы тобой занялись как следует? А потом и всеми нами? Ты – бывший. Бывшим быть и обязан!

– Не хочу... Не буду бывшим! – плаксиво заговорил Трофимьев.

– Сгинь отсюда, – вдруг смягчился Елима Петрович, – сгинь, иди в подсобку. Счас для дела потребуешься.

## 7

Не давая продавцу опомниться, Ваня отворил вторую клетку, за ней третью, сбил заднюю перегородку со стеклянной попугайской витрины, выпустил с десятков волнистых, перескочил через какие-то коробки, обрушил ногой поставленные этажеркой ящики, ухватился за купол громадной совиной клетки, отворил и ее...

Шум и гвалт плотной волной потекли по рынку.

Одна птица – видно, полумертвая – тут же брякнулась оземь. Еще две – полетели низко и кривенько, но вместе, парой. Еще несколько взметнулись вверх. Крикнул резко и зло выпущенный на волю скворец. С перепугу начал петь, а потом резко замолк черный дрозд.

К Ване бежали охранники. Хватал за грудки продавец. Ваня огрел продавца своей собственной, так и не проданной клеткой, клетка обломилась в сторону, в руках осталась толь-

ко дверца. Дверцу Иван сунул за пазуху.

Он думал – его изувечат, убьют, пятое, десятое... Ошибся.

Не одна лишь волна злобы окатила Новую Птичку! Койкому Ванина забава страшно понравилась. Сразу несколько покупателей – один даже очень приличный, в мехах, в перстнях, – потянули руки к клеткам. Выпустили, смеясь, еще нескольких птах.

И завернулся винтом под куполом рынка небольшой, но крикливый птичий вырей! Словно собравшись за море, кружили и кричали птицы, ища выхода из ангара.

Этот ошеломляющий звук, звук полученной «за так» свободы, сделал Ваню на миг пустым, бескостным. Птичий звук был лучше жизни, был приятней и справедливей ее. От радости и от счастья Ваня закрыл глаза.

Тут его сзади чем-то тупым и огрели.

## 8

Из-за раздухарившихся молодчиков, выпускавших почем зря чужих птиц, Пашка никак не могла добиться до Ивана. Она толкалась и щипалась, но продавцы и покупатели радовались и злобствовались, реготали и рвали на себе волосы, показывали вверх и друг на друга, трясли животами, стояли плотной стеной.

Ваню потащили – за этим Пашка следила безотрывно – в подсобное помещение. Но в какую именно дверь затолкали

– этого заметить уже не могла. Чуть не ползком, ударяясь о задницы и колени продавцов-покупателей, пробралась она к северному входу, стала дергать запертые двери. Заглядывала и в двери открытые.

Ивана нигде не было.

## 9

Очнулся Ваня от воздуха. Воздух бил в нос, холодил виски. Зимний день уже сильно клонился к вечеру.

– ...так скажи за это спасибо Елиме, – услышал он над собой зычный командирский голос, и тут же попытался встать.

Однако держали Ваню крепко. Да и руки его оказались связанными.

Какой-то бетонный закуток. Задний двор что ли? Людей – нет, кошечек-собачек тоже не видать. Но небо московское – дымится, огни вечерние московские вдали посвечивают!

Казенный человек бурой мордой своей лез прямо на Ваню.

– Т-т... товарищ прокурор, – решил схитрить Ваня, – я это самое... Я ж не нарочно...

– Какой я тебе, к чертям, прокурор. Пристав я! Не знаешь формы, дурак?

– Ладно,пусти его. Слушай сюда внимательно, – охранник с нашивками на рукавах и на груди, повертел головой, как будто ему мешал дышать туго застегнутый ворот. – Ты

тут пташек – на пять штук баксов повыпускал. А еще штраф с тебя. За дебош. Счас хозяин придет, он точно урон определит.

## 10

Елима Петрович только для порядку заглянувший в каменный мешок, брезгливо поморщился, сказал: «Чтоб я этого обалдую больше здесь не видел», – повернулся, но, уходя, призадумался.

Ставить Ваню на «счетчик» он не желал. Не потому что жалел Ваню. Знал: бесполезно. А бесполезных вещей Елима Петрович давно уже не делал. Ну а раз бесполезно – так и надо подобрей к человеку. Тем более после сытного обеда гневаться грех.

– Ты, конечно, сильно мне тут напортил. Но зла я на тебя, Иван, не держу. Может, так оно и надо, птичек иногда выпускать. Даже праздник такой есть – Благовещенье. Для выпуска птиц предназначенный. К этому празднику птичек на Руси раньше и выпускали. И сейчас такое, может, случается. Но ты, Ваня, поперед праздника забежал. Нету его пока, праздника, нету! А вот на рынке ты мне порядок ух как испортил. А порядок – он всегда и во всем быть должен. Поэтому ты вот что... Убытку от тебя, конечно, много...

Елима Петрович на миг запнулся.

– На «счетчик» его! – захрипел охранник, обрывая пуго-

вицу с ворота.

– Ты охолонь, Василий. – От собственной ласки Елима Петрович даже вздрогнул. – Охолонь, расслабься. А я пока подумаю.

Елима стал думать. Кожаный фартук на его животе из морщинистого стал гладким.

– В общем, сделаете так: праздник, он все равно когда-нибудь да будет. Так что выведите его отсюда и под зад коленкой. Ну, в общем, с миром отпустите. Если, конечно, у вас у самих к нему вопросов нет. И чтоб духу его здесь больше не было!

Елима Петрович не спеша возвратился в ряды.

– Как не так. – Бурчал, выводя Ваню из каменного мешка за ворота, бывший пристав. – «Отпустите с миром!». И рынку от него убытку на пять штук баксов, и государство в прогаре: теперь этих птиц полумертвых собирай, живых – лови. За уборку территории, опять же, таджикам плати. Давай его в машину, поехали!

## 11

Тут, на вечереющей дороге, близ розово-клубничной Елиминой машины, их и обнаружила Пашка.

Она кинулась сперва на охранника, потом на бывшего пристава, стала кричать, кусаться. Пашку запихнули в машину. Там она на время успокоилась.

Шумела дорога, молчал вдалеке лес. Рядом летали вечерние птицы: то ли упорхнувшие с рынка, то ли вольные – было не понять. Потом птицы устали, сели на деревья, сняли и повесили – так показалось Пашке – на ветки крылья. И от этого уподобились людям: стали бесшумными, слабо видимыми.

## 12

Казенный человек сперва ничего дурного с Ваней творить не собирался. Но в машине, уже порядочно отъехав от рынка, он вдруг разнервничался, стал накручивать себя донельзя. Ваня показался ему преступником закоренелым и преступником безнаказанным. Вина Ванина в глазах Трофимьева росла и росла. А тут еще эта девка. За палец укусила, шалава!

Думая спервоначалу Ваню и Пашку лишь слегка попугать, бывший пристав вдруг все на ходу перерешил.

– А ну, останови! – крикнул он водителю.

Не говоря больше ни слова, пристав схватил Пашку за плечи и вытолкал из машины на дорогу.

– Поворачивай назад! – Трофимьев ткнул водителя кулаком в спину.

Ваня шевельнул связанными руками, а помочь Пашке ничем не смог.

Сдали километра полтора назад. Ваня снова возвращался на Птичку.

До Птички, однако, не доехали, остановились напротив леска.

– Выходи, – сказал Трофимьев торжественно. – Выходи, бандюган пригородный.

Ваня понял: будут бить. И сам первый, как только вышел из машины, ударил бывшего пристава ногой. Тот упал, поднялся, крикнул протяжно, как сыч:

– Ну, гад, я тебя урою!

## 13

Вечер лег гуще, плотней.

Выкинутая из машины Пашка резво бежала по улице Верхние Поля. Мысли ее тоже бежали вприпрыжку. Она вспоминала то свою медицинскую службу, то Ивана. Но больше всего ей вспоминался писк из коробок, копошившийся в ушах еще со времени первого посещения леска.

Лесок этот, не большой – не маленький, раскинулся сразу за Окружной дорогой. Несколько месяцев назад, в ноябре, Пашка в него и завернула. Просто так, сдуру. Издалека лес показался ей приветливым, безопасным. Но как зашла – так сразу и присела. Потому что наткнулась на коробку. А в коробке – котята. Мертвые, от приморозков давно окоченели. И ладно бы какие-нибудь посторонние котята! Так нет, те самые, дымно-рыженькие, которых при ней отдала перекупке несколько дней назад незнакомая бабулька. Перекуп-

ка клялась и божилась, что пристроит дымно-рыженьких к замечательным и богатым людям. Успокоенная бабулька, отдав котят, ушла.

«Вона куда их!»

От внезапной боли в кишечнике, Пашка не сразу смогла разогнуться. Наконец, распрямилась, огляделась.

Людей в том ноябрьском лесу и вправду не было. Все были заняты: на Птичке разгар торговли. Обмирая от страха и от любопытства, Пашка углубилась в лес. И чем дальше шла – тем становилось страшней. Под деревьями мертвые птицы, в коробках – штабелями – бездвижные черепахи.

Котят мерзлых – немеряно. А собаки... Те вообще на части порублены.

Пашка хотела повернуть назад, однако ноги сами несли ее дальше. Страшный лес еще не умер! Он хрипел, стонал, подмякивал, пытался выжить.

Тогда, в ноябре, Пашка, споткнувшись о что-то мягкое, упала.

Упала она и сейчас, догоняя Ваню и тех троих, что, судя по брошенной машине, как раз в этот лесок и завернули. Дыхание у Пашки сбилось, пришлось остановиться: отдышаться, очистить веточкой ботинки от грязи, высморкаться.

Ваня шел по лесу с тремя утомительными придурками, но

думал не про них, про птиц: «Вот летают себе, и горя нашего им нет. Бьют их из ружей влет и в силки заманивают. Но под ярмом нашим они не ходят!»

Иногда перескакивал мыслью и на людей. «Ну излупят, – думал, – ну обомнут бока. Впервой ли? А птиц таки повыпускал!»

Потом начинал думать и вовсе про постороннее, начинал – как это часто с ним в последние месяцы бывало – вести внутри себя разговоры с высокими лицами.

«Эх, Ладим Ладимирович, – говорил про себя Ваня, – Ладим Ладимирович! И Вы, Митрий Анатольич, тож! Как же это так случилось? Я чего-то никак не пойму. Все вроде у нас путем, а человеку хорошему – ни жизни, ни воли. Козлам да баранам – тем раздолье. А кто честный – тому осино-вый кол меж лопаток! И деньгой-то ему в харю тычут, и всем иным попрекают. Нет, не подняться честному! А подыметя – так бумажками закидают. И стоит он, дрожа, в бумажках шелестящих, как в воде: по самое горло. Вот вы по ящику правильно все говорите. А выключил ящик – и все, и другая жизнь. Особенно в пригороде. Землю всю подчистую забрали, продают ее и перепродают, чего-то ненужное строят. А людям от тех построек – что за прок? Как были все соседи в Перловке нищие, так ими и остались. Мож оно и не так плохо нищим быть. Иногда даже радостно. С этим не спорю. Но навсегда нищим оставаться – как-то оно утомительно, а? Может, не надо так?

– Надо, Ваня. Ну просто необходимо. – Строго так и степенно отвечают внутри у него Ладим Ладимирович и Митрий Анатольич. – Ты погоди маленько! Вам же, дуракам перловским, от этой временной нищеты когда-нибудь лучшей станет. Неравенство – оно кого хошь выучит. А касательно пригородного населения – мы с кем надо строгий разговор иметь будем. В этом, Ваня, не сомневайся!

– Нет, я че-то. Ну словно бы – сомневаюсь! Если, конечно, сверху глядеть – вроде у нас порядок. А подойдешь поближе.

Все у нас хорошо – только жизнь плохая!

Но раз надо терпеть, раз указано пригородным без земли собственной оставаться, указано на город до скончания века батрачить – что ж: потерпим, сполним!»

После таких бесед с высокими лицами Ване всегда хотелось петь: от радости выполненного долга, от удовольствия круглых речей.

Он и сейчас пошевелил связанными руками (потому как петь и не размахивать руками не мог) и запел вполголоса:

Ехал на Птичку Иван Раскоряк,

Ехал, споткнулся, и в грязь мордой – бряк...

– А раз ехал, так и приехал! – крикнул по-звериному глухо бывший пристав. – Приехал, говорю, ты, Ваня!

Пашка все никак не могла двинуться с места.

Вроде только полтора-два кэмэ пробежала, а не было сил. Да и что-то держало, не давало идти. Отдышавшись и отплевавшись, она осмотрелась и увидела на дереве облезлого серого кота.

Тощий кот глядел на Пашку и топорщил шерсть. «Вона кто не пускал!»

– Котя, котя, пусти! Мне надо. Ваню бить будут...

Кот еще больше встопорщил шерсть, но потом, вроде соглашаясь, мяукнул, сдал назад – так Пашке во всяком разе показалось, – и она вступила в самую гущу кое-где еще снежно белевшего леса.

Пашка шла наобум, по косо́й, едва приметной дорожке. Шла не оглядываясь, иногда на ходу приседая от шорохов, от вымахивавших на ее пути длинными кривыми ветвями, страхов.

Серый облезлый кот, чуть обождав, соскочил с дерева, но тут же, словно что-то учуяв, застыл на месте. Потом, постояв и видно устав прятаться от собак и людей, пошел вслед за

Пашкой. Шерсть его кое-где еще топорщилась, но хвост по земле больше не волочился: торчал трубой.

## 17

Бывший пристав уже хотел было Ваню в лесу – «на произвол судьбы» – покинуть. Но опять вспомнил про государство, про то, какой дерзкий ущерб причинил ему Ваня, и понял: никто этого обалдуя по настоящему не накажет! Раз уж Елима не стал – другие и подавно не захотят.

А тут еще Ваня сглумил: стал развязывать – и развязал таки – руки.

Бывший пристав Трофимьев увидел, крикнул: «Вишь, развязался!» – и тут же въехал Ване в ухо.

Били недолго, потому что охранник случайно задел уже лежащего на земле Ваню тяжелым ботинком по голове, и тот отключился. Для верности дали еще камнем по затылку.

В лесу становилось холодно, дальше бить потерявшего сознание было неинтересно. А наказать надо было по всей строгости, до конца.

Вдруг Трофимьев обрадовался:

– А ну волоки его. Тут рядом! Давай, шевелись!

На границе кошачье-собачьего кладбища и молодой, примыкавшей к старому лесу, рощицы – было вырыто несколько непонятных ям: то ли для зверья покрупней, то ли и вовсе для живших, кормившихся и умиравших близ Новой Птич-

ки бродячих людей. Вскоре такая яма невядалеке и обозначилась.

– Давай его сюда. А то Елиме достанется. А Ваня... Он же перловский, здесь его искать никто не станет.

Бывший пристав вытряхнул из Ваниных карманов несколько бумажек и какую-то зеленую корочку.

– Ф-ф-у, блин! Иван Ла-азаревич... – Прочитал он и скривился. Но Ванину корочку себе в карман все ж таки сунул.

Ваню подволокли к яме. Перевернули вверх лицом. Пристав закашлялся, кинул лежащему на грудь дверцу от птичьей клетки, выпавшую у того из-за пазухи. Спустили вниз, прикидали мерзлой землей, еще и наверху всякой дряни: коробок со сгнившим кормом, кошачьих ленточек, досок от ящиков, собачьего смерзшегося дерьма...

## 18

Пашка заблудилась. Попала не туда, где обретались те трое и Ваня. За спиной кто-то мяукал. Пашка поворотила назад. Минут через десять, сквозь деревья, она увидела пристава, охранныка и водителя. Они сажлись в розовую, спело-клубничную, на миг засветившую себя изнутри – как сердце – машину.

Вани с ними не было.

Пашка остановилась, прислушалась. Картонные коробки теперь помалкивали, не слышно было ни собачьего повизгивания.

ванья, ни птичьих криков.

«Где ж Ваня?» – Она снова развернулась спиной к дороге, лицом – ко все еще пугающему мертвым зверьем, лесу.

## 19

Земля забила ноздри. В рот лезли смятые ленты. Дыханье стало не то что спертым – стало кончатся совсем.

Ваня знал: он уходит в землю плотней и плотней, врастает в нее глубже и глубже. Ужас сменился радостью, радость – снова ужасом: что там в глубине? Что-о-о?

Вдруг пробежал сквозь него розовый Елима Петрович. Потрогал Ваню за нос, удалился. У Елимы во всю щеку – свежая золотуха; через рот, до затылка, сквозная рана: дымит, чернеет...

Проскочил завхоз перловского Дома творчества художников, не позволивший когда-то Ване – «не член Союза!» – камни резать. Завхоз тяжело наступил ногой на грудь.

Цапнул за шею неизвестный, но страшно когтистый и немаленький – размером с хорошую собаку – могильный зверь.

С болью притронулась к виску Пашка.

От всех этих прикосновений Ваня совсем перестал дышать. Но и глубже в землю перестал опускаться. Зная: дышанья взять больше неоткуда, крупно дрогнул всем телом. Двинул рукой, потом ногой, и вдруг со скрежещущей радостью

ощутил: земля крохкая, поддается, можно, нужно наверх!

Левая рука ощупала дверцу птичьей клетки. С громадной тяжестью, подведя руку к лицу, Ваня стал этой дверцей отгребать от носа всякую дрянь. Даже загордился: без дыхания, а живет! Но это была другая жизнь: отвратительная, ужасная, с ходящей ходуном, требующей воздуху грудной клеткой, с ледяными осколками глаз, со слепым и корявым узнаванием предметов, каких на земле отродясь не бывало.

Тут мысли в голове сдавились сильнее, как-то вкривь и вкось подумалось: «Для тебя, Ваня, сейчас Бог – сыра земля! Че ж из нее и выходить? Еще чуть – станешь крепким, как корень, не разрубаемым, как дуб!»

– Ну нет, – рыкнул Ваня себе же в ответ. – Бог – Он один! Что в сырой земле, что на небе. А ежели всякие людишки и звери тут сквозь меня шлендают – так это, может, ине от Бога...

Мозг, еще недавно пылавший красным расколотым фонарем – «это он от натекшей крови красный!» – подернулся золой, гас угольками. Вместо дыханья обычного пришел каменный, ломающий грудную клетку дых. Холод неслыханный, холод могильный сдавил сердце тяжкими льдинами.

Но однако ж – руки двигались, шея покручивалась!

Вдруг разбитый ящик, державший на себе целый пласт мерзлой земли, съехал в сторону. Правой ноздрей, в которую земля набилась не так туго, Ваня хватанул капельку (ласкового, надмогильного, тепловато-гнилого, почти весеннего)

## 20

Бывший судебный пристав подхватил с заднего сиденья бутылку портвейна, широко расставляя слова, сказал:

– За упокой... души... раба Божьего... Ивана.

– Слышь ты, приставной! Давай вернемся, отроем. За что его так? За пять штук баксов? Так у него четверть дома и сараюха в Перловке. Заставим продать – штук на двадцать потянет!

– Я те вернусь. Ишь, заступничек выискался. Как я есть человек государственный...

– Приставка ты к человеку. Бывший ты – государственный!

– А это... ничего не бывший! Я тебе вот что скажу: надо нам от всякой шелупони освобождаться. Ну, секешь? Не тянет она, шелупонь, в нынешних условиях. Ни капиталу, ни ума у нее, ни прочей собственности. Одна гниль да прель по сараям. Так чего им тогда в этом мире и мучиться?

## 21

Жизнь в могиле была короткой. Но это была именно могильная жизнь. Ваня не мог бы точно сказать – хорошей она

была или дурной. Ясно одно: была она бесконечно одинокой, тесной, тускло холодной. И цвет этой жизни был нелюбимый – темно-коричневый.

Что смерть, хотя и холодная, а живая, часто живей самой жизни – Ваня в своем пригороде догадывался давно. Теперь – подтвердилось.

В ухо вполз червь. «Может, с рынка, непроданный? А сюда переполз только». Ваня червя стерпел. Не до него было.

К губе прилип слизень. Потом, невдалеке, кто-то грубо и навзрыд рассмеялся. Снова все стихло.

Наконец все тот же гробовой насмешливый голос, явно перед кем-то выпендриваясь, гнусно прошелестел:

– Глубже, глубже его! Рот и кишки плотней землей забейте! Дерьмо собачье в ноздри воткните. Штумп, штымт! Дух скота – он, сказано, в землю уходит. Штумп, штымт! Ты, Ваня, – быдло, скот! И жить тебе, кстати, осталось – одну минуту. А после – сразу неизъяснимым станешь.

– Это как это – неизъяснимым?

– А так. Ничего, никогда и никому – ты больше изъяснить не сможешь!

Иван с остервенением стал выкапываться дальше. Оборвал с губы слизня, шуганул могильного зверя...

Неразрушимая сила вошла вдруг в него: копай, Ваня, копай!

Выкопался он быстро. Встал, встряхнулся, повел одним плечом, другим. Шапки на голове не было. С правого плеча свисал драный кошачий хвост. Под ногами валялись мертвые птицы. Из ботинка торчала головка замерзшей ящерицы. На губах, на щеках – земля.

Страшная, земляная, никогда раньше не существовавшая в нем сила, вмерзшая пузырьками воздуха в кость – продолжала распиравать Ваню.

Он ступил к дороге. Однако быстро сообразил: на Птичку – поздно. Да и не для гнилой Птички сила в могиле скоплена!

Тогда он двинул домой, в Перловку. Сперва решил – через Москву, через центр, во всей красе! Но потом передумал. Миновав лес, вышел к Окружной дороге.

Тут его что-то остановило: сзади послышалось кошачье мяуканье, женские мелкие всхлипы. Ваня нехотя обернулся.

Он увидел Пашку, облезлого серого кота, а над ними – дымно-огненное подмосковно-московское небо.

Стояла уже настоящая ночь. Машин поубавилось. Сзади причитала убегавшаяся за день Пашка. Ваня шел и сил у него прибавлялось и прибавлялось.

«Раз из могилы выкопался, так стало быть, и жизнь земную осилю!

Ехал на Птичку Иван Раскоряк.

Был Раскоряк – стал матрос Железняк!»

## 23

И вышел на небо Великий Жнец.

Чуть помедлив, взмахнул золотым серпом, стал косить невидимые, но давно приуроченные к такой жатве рати. Серп заблестал над нищими пригородами и над богатой Москвой. И брызнула из-под серпа кровь: быстро текущая, остро-пахнувшая. И встрепенулись черви в могилах и гады в кроватях: но крови своей, из них навсегда убегающей – не почуяли.

И хотя напугал Жнец своим серпом немногих, зато многих – тайно коснулся!

Тут же, под серпом у Жнеца, близ дороги, там, где кончалась улица Верхние Поля, ожила и шевельнулась серая, громадная, размерами сто метров на двести – так Ване показалось – птица. Не та, что, составившись из малых пичуг, кружила под сводами рынка, и не та, что сидела в запертой клетке. Другая!

Тихая, огромная, с чуть серебримым пером, от прикосновений взгляда легко ускользящая, – она, сквозь ночь, мечтала о чем-то своем. И человекам про те мечтания не сообщала.

Ваня развернулся и, оставляя позади собственную могилу и громадную птицу, оставляя Верхние Поля и Нижние,

отодвигая журчащее небо, мелкую речную трепотню и крупную лесную дрожь, расшвыривая в стороны скопища людских душ и комки птичьих шевелений – пошел, наливаясь неизъяснимой силой, домой, в Перловку.

## 24

Сзади вышагивала – готовая переть хоть до Холмогор, хоть до Северного полюса, или до островерхого города Калининграда – белобрысая Пашка.

Вслед за Пашкой, воздев хвост трубой, шествовал серый облезлый кот. За ним подскакивала и вновь опускалась на землю – крупная, неуклюжая, едва различимая во тьме птица: может, ушастая сова, может, зря потревоженный филин.

# ОСТРОВОК РЕЙЛЯ

Антоша-Тоник? Был такой, существовал. Попыхивал дымком, по временам, как пенка, пенился. Иногда – размышлял даже.

Размышлял он, к примеру, так:

«Кто нами распоряжается? Кто дергает за кончики ниток, за уши, за усы? Взять хоть сегодняшний вечер. Не хотел ехать на канал, а поехал. Ну и разругался вдрызг, ну и разнервничался. И теперь летают нервишки по комнате и носятся вскачь. Не соберешь их, не успокоишь!»

Тоша Дышкант – Антоша, Тоник – в свои тридцать с гаком стал попивать. Разок-другой даже и укололся. Пару-тройку раз – нюхнул кой-чего. Но потом испугался, нюхать-колоться прекратил. Зато пристрастился к чему-то давнему, вроде бы всеми и навсегда забытому: стал пить с дурманом.

Кидал Тоша в вино табачок и жженку, крошил – наслаждаясь свежей типографской краской – газеты, иногда растворял успокоительные таблетки. Он прихлебывал свое пойло, жадно выкуривал две сигареты подряд, и только после этого начинал ощущать удовольствие жизни.

При всем при том искал Тоша не забытья! Он искал изменений наружной действительности. Очень уж ему хотелось сделать воображаемое реальностью, а реальность, наоборот,

перевести в разряд чего-то воображаемого.

Последние восемь месяцев Тоша работал на городском, слабо раскрученном телеканале ведущим одной из ночных программ. Платили сносно. Теребили не слишком. Занят – три раза в неделю, с девяти вечера до часу ночи. А в остальном – гуляй, рванина, успевай только рукавом занюхивать!

Именно ночные передачи и стали подталкивать Тошу к необычным мыслям.

«Что, если взять, – думал он, – экранное зеркало, да и расплавить его? То есть подвергнуть какой-нибудь новейшей и неслыханной термической обработке? Но при этом ни изображение, ни звук – не разрушить!»

Кидая в вино табачок и помешивая это мутное пойло ложечкой, он размышлял дальше:

«Что, если сделать экранное зеркало навсегда жидким? Вечно струящимся, как вода? Густо текущим, как шоколад? Пусть себе сверху течет и течет. А ты в зеркале этом купаешься. Ну и заодно все новости, вместе с капельками зеркальными, заглатываешь! В таком зеркале и мир изменится: станет податливей, мягче. По нему – по миру – кувалдой лупят, а он лишь выгибается сладко. А то сейчас лупанут – стекла, дребезги, звон, руки в крови, язык в порезах...»

Стал Антоша думать и на работе.

Раньше он вещал, не размышляя, лишь слегка стопоря или направляя в нужную сторону цепочки слов. Теперь – по-другому. Он размышлял вслух, мешал телеоператору, выво-

дил из себя режиссера, приставал ко всем с дурацкими вопросами, лепетал в прямом эфире ни в склад ни в лад.

Ночной эфир, так полюбившийся всем, кто его мастерил, вместе с суетой ведущего, стал трещать по швам, рассыпаться, гаснуть.

Как-то осенью, после очередной встречи с ночным гостем, Антоша-Тоник, поссорившийся сразу и с режиссером, и с оператором, ловил на Севастопольским проспекте частного. Машины у Тоника не было. «Таксей» он не признавал.

Закурив, Тоник стал размеренно поднимать и опускать руку. Вдруг кто-то подскочил к нему сзади и сбоку, молча встал за спиной. Тоник задымил, как печь, и только напустив через плечо дыму погуще, обернулся.

– А я сегодня, как назло, без машины. Думал, мы с вами эфирчик быстро сварганим – так я на троллейбус и поспею!

Человек за спиной оказался сегодняшним «ночным гостем». На эфире он представился странно: то ли народным целителем с медицинской степенью, то ли знахарем высшей категории из Кремлевки, – Тоша забыл, как именно.

«Гость» был очень уверенным в себе, вертким и смешливым человечком на голову ниже Тоши. Был он к тому же просто-таки распахнут настежь. Так и казалось – в грудь «гостя» вделана бесшумная и безотказная форточка: открыто – закрыто, закрыто – открыто.

Правда, Тоша сразу заметил: этой самой открытостью «ночной гость» что-то в себе прикрывает. «Ушлаган какой, –

подумалось еще на эфире, – надо держать с ним ухо остро. Еще денег попросит. Ну это – шиш с маслом!»

– Знаете, куда я сейчас еду? – спросил «ночной гость». При этом он продолжал ловко поворачиваться на каблуках и поглядывать по сторонам. – А еду я в «Народную клинику», о которой рассказывал нашим уважаемым телезрителям. Хотите взглянуть, что там и как?

Антоша попытался вспомнить ночную телетрепотню. Но ничего не припоминалось. Он был так поглощен на эфире мыслями о жидком зеркале, что пропустил самое важное.

Антоша устал, ему хотелось домой, тепловатая ноябрьская сырость раздражала психику. Однако ехать в клинику он почему-то согласился.

Доехали быстро: дважды сворачивали в переулки, после третьего поворота остановились.

– Здесь, – сказал целитель и отпустил частного. Когда-то давным-давно Антоша-Тоник был женат. Были у него сын и дочь. Но и детей, и бывшую жену он вспоминал редко.

Разве вспоминалось женино:

– Ан-то-нин. Пора, наконец, проявить мужество! Или другое:

– Ан-то-нин. Марш с кошелкой на рынок!

Может, Антоша о жене и детях и не вспомнил бы. Но о них заговорил народный целитель. После чаев-кофеев он неожиданно сказал:

– Пугать вас не стану, но прогнозец выдам. А с ним, как

полагается – и рецепт.

– Вы ведь, кажется, не врач... – В этот час Антоше не хотелось прогнозов – хотелось коньяку с лимоном или, на худой конец, ликеру покрепче.

– Да, я не врач. И если уж быть до конца честным – я шарлатан. Или как говорили раньше – надувала.

– Вот как? – Антоша хотел возмутиться, проорать что-то обличительное о шарлатанах – медицинских, экономических и всяких других, – до края заполонивших Москву. Но лишь устало пожал плечами.

– Да, шарлатан, надувала. И горжусь этим. И объявляю об этом прямо. Я прозрачен, как.

– Как мягкое зеркало?

– Зеркало тут ни при чем, – обиделся маленький шарлатан. – Здесь другое важно. Я ведь на цыганском факультете диплом свой получил. А это – трех академий стоит. Так что, хватит, еханий насос, болтать, здесь не эфир, давайте о деле. Вы холостяк? Вижу, знаю. А когда-то были женаты. И жизнь у вас, в общем и целом, была неплохо налажена...

Здесь-то Антоша жену с сыном и дочерью вспоминать и стал. Правда, вспомнилось не все. От эфирной расслабы и дальнейшей усталости ему никак не удавалось припомнить девичью фамилию жены.

Впрочем, фамилий целитель и не спрашивал. Он заговорил о другом:

– Я ведь не для нравственных проповедей, – надувала про-

кашлялся, – вас сюда заманил. Просто во время передачи я заметил у вас одну редкую особенность. Или, если хотите, одно небольшое отклонение. Вот. Обратите внимание... – надувала повел рукой в сторону компьютеров, посвечивающих тошными ночными огоньками.

Вглядываться в экраны Антоша не стал. Заметил только: на самом большом шарлатанском компьютере мерцает, сжимается и разжимается, одним словом, «дышит» чей-то мозг.

Примерно такой, каким его рисуют в школьных учебниках. Ну, может, чуток побольше и набок зачем-то скошен.

– У вас выпивка есть?

– Вот-вот, – обрадовался шарлатан, но сразу же полез в шкаф и достал уже кем-то ополовиненного «вискаря», – так я и думал! Вы просто обречены сейчас за выпивку хвататься. Может еще и анаши спросите?

– Нет, только рюмочку. Ну и, – Тоша слегка замялся, – горсть табачку мне туда сыпаните.

Надувала обрадовался и табачку. Но потом – и как показалось, скорей по обязанности – помрачнел, стал на Тошу зря наговаривать:

– У вас, Антонин Юрьич, нездоровый вид. Не знаю, что вам впаривает официальная медицина, но я вам скажу вот что... У вас – как я уже говорил – есть особенность: слегка воспален один из участков головного мозга. Так называемый «островок Рейля». *Insula Reili*. Островок этот упрятан в глубине правого полушария, в так называемой сильвиевой ще-

ли, и что-то больно похож на египетскую пирамиду! Правда крохотную. Так вот: у вас этот самый «островок» треугольный горит ярким пламенем. Он воспален. Он властвует над вами. Как фараон, как Сталин, как сатрап! А вы, вместо того чтобы силу этого островка себе на благо использовать, словно раб, ему подчиняетесь. Ну и глушите себя – как судака динамитом – коньяком и водочкой. Теперь еще и табачок стали подмешивать. И зря! И глупо! Потому как – возможности этого самого «островка» можно для своих целей приспособить. Вот, гляньте на экран...

# Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.